

В.И. Красиков

РУССКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ: ЛИДЕРЫ КРЕАТИВНОСТИ

*Статья подготовлена при финансовой поддержке
и в рамках выполнения научно-исследовательского проекта
№ 2.1.3/4245, Аналитической ведомственной целевой
программы "Развитие научного потенциала высшей школы"
2009-2011 гг. Министерства образования и науки РФ,
Федерального агентства по образованию*

Революционно-катастрофическая судьба России в начале XX в. поставила беспрецедентный эксперимент в отношении национальной и мировой философии.

Во-первых, это лишение нации большинства ярких мыслителей и философских лидеров, что привело, опять-таки, к полувековому перерыву в свободном (органическом) философском развитии. Потребовалось также два поколения, чтобы возникла новая российская философская традиция, взрослая, на сей раз, на марксистских «дрожжах». Не скажу, что она хуже или лучше – она просто другая.

Во-вторых, это феномен российского «философского десанта» в Западной Европе 20-30-х гг. XX в., когда 11 философов в 1922 году (Зеньковский и Шестов выехали ранее) резко интенсифицировали процесс знакомства европейцев с русской философией и русской ментальностью. Этому весьма благоприятствовала соответствующая предгрозовая духовная атмосфера того междувоенного двух мировых войн и великих тоталитарных диктатур: распространение иррационализма, экзистенциализма, религиозных поисков – в конфронтации с жестким сциентизмом (неопозитивизм), воинственно изгонявшим любую метафизику из философии. Литературная экзистенциалистская мода на Достоевского добавила интерес к тем философам из «десанта», кто в наибольшей степени отвечал складывающемуся образу «типичного русского философа»: радикала и иррационалиста, эпатирующего пресыщенную рациональную западную публику варварской жизненной страстью, экзотизмом проблем, страстной метафизикой. Такими философами стали Бердяев, Шестов и Сорокин (как социальный философ). Им же досталась и львиная доля европейской славы. Они же, вместе с принесенным ими культом Соловьева как эмблемы русской философии, стали наиболее известными (упоминаемыми) русскими философами на Западе. Почему так случилось и чем эти люди были отличны от других, не менее достойных русских философов-эмигрантов? Полагаю, что тому способствовали два обстоятель-

ства: их яркая личная креативность и коммуникативные способности и, может быть еще в большей мере, духовные объективные обстоятельства.

Во-первых, это были чрезвычайно продуктивные творческие умы. Здесь пальма первенства, похоже, у Сорокина, который опубликовал 40 книг, 200 статей. Он сам это признавал, вспоминая в своей автобиографии, что только за 6 лет, проведенных в университете штата Миннесота, он сделал то, что превышает возможности среднего социолога – американского или иностранного – за всю жизнь. Бердяев написал и опубликовал за годы эмиграции около 20 книг, объемных и не очень, большое количество статей. Шестов выпустил 4 книги, что гораздо скромнее, но все же больше, чем остальные философы-эмигранты, за исключением не попавших в тройку лидеров популярности – С. Франка и Н. Лосского. Они были также довольно продуктивны – выпустили по десятку книг, однако им, по-видимому, не хватило других качеств, необходимых для популярности: высокой степени коммуникабельности и амбициозности, но главное, их работы слишком эзотеричны и академичны (не литературные, публицистичны).

Именно личностные качества коммуникабельности блестящих ораторов, полемистов и остроумцев позволили Бердяеву, Шестову и Сорокину занять стратегические позиции в европейском (и американском) интеллектуальном пространстве, войдя в самые центры философских и социологических сетей.

Бердяев снискал себе славу в первую очередь религиозного модерниста, религиозно-философского реформатора (эксперименты с православием, мистикой, «активное христианство») и медиатора в межконфессиональном общении. Он стал очень известным в христианских кругах Европы: как католической, так и протестантской. Для Запада Бердяев был, и, вероятно, надолго останется выразителем духа Православия, отмечал с некоторой долей огорчения В. Зеньковский, полагая, что религиозно-философское обаяние произведений Бердяева определяется скорее именно своеобразной амальгамой христианских идей и нехристианских начал – отсюда иллюзия «новых путей» в религиозном сознании. Оставим на совести православного священника о. Василия этот скорее пассаж профессиональной зависти-ревности – ведь собственно благодаря Бердяеву западным религиозным философам был презентован яркий, самобытно-русский вариант активного, социального и персоналистичного восточного христианства в традиции В. Соловьева, вместо унылой, косноязычной православной ор-

тодоксии. Бердяев, кстати, отмечает в «Самопознании» эту позицию хотя и неодобрительного, но невмешательства православной ортодоксии. В отличие, к примеру, от С. Булгакова, учение о Софии которого резко осудили как чуждое св. православной церкви московский патриарх и синод русской церкви в Карловаце. Русской зарубежной православной церкви и консервативным кругам русской эмиграции просто была выгодна популяризация Бердяевым православия – пусть хотя бы и в подобной полу-христианской форме. Главное – имидж. Влиятельность европейских христианских кругов в немалой степени способствовала росту популярности Бердяева.

Бердяев оказался также в центре литературно-художественного бомонда Франции и intellectuals многих других стран, став желанным дискутером в знаменитых в то время декадах в Pontigny (имение богатого французского мецената Дежардена), где обсуждались философские, литературные и социально-политические темы. Бердяев, кроме того, встречался и общался со многими современными ему выдающимися европейскими философами: М. Шелером, Г. Кейзерлингом, О. Шпенглером, М. Бубером.

Однако важнее всего в его профессиональной философской коммуникации стало значительное, если не одно из центральных мест, занятых им в складывающейся в то время интеллектуальных сетях. Речь идет о французском персонализме (кружки журнала «Espirit» во главе с его создателем и главным редактором Э. Мунье) и религиозном, католическом экзистенциализме (философские собрания у Г. Марсея и у Ж. Маритена).

В центре другой престижной философской сети – немецкой феноменолого-экзистенциалистской – оказался Лев Шестов. Еще, будучи в России он стал известен своими работами о Достоевском и Ницше. Уже за границей, куда он выехал с семьей двумя годами раньше «философского парохода», его стали приглашать немецкие общества Канта и Ницше для выступлений с докладами. Там-то и состоялись его знакомства с Гуссерлем и Хайдеггером. Гуссерль пришел специально, чтобы послушать русского философа, который стал ему известен по резкой критике, которую он обрушил на голову создателя феноменологии в ряде статей, опубликованных во Франции. Как ни странно, они подружились. Мотивация подобных отношений лежит, по-видимому, в притяжении противоположностей. Г. Ловцкий вспоминает как Гуссерль, представляя Шестова американским профессорам философии, отрекомендовал его следующим образом: мой коллега, такой-то и такой-то; никто никогда еще так резко не нападал

на меня, как он – отсюда наша дружба. Глубина различий между ними проступает в характерном споре Гуссерля и Шестова о природе философии, приводимом Ловцким. Шестов заявил, что философия – это «великая и последняя борьба», «нет, – резко ответил Гуссерль, – философия – это размышление». Тем не менее, они высоко ценили друг друга, что было непонятно многим ученикам и коллегам Гуссерля. Именно Гуссерль посоветовал Шестову ознакомиться с произведениями близкого, как он полагал, Шестову западного философа – Кьеркегора. Это привело к появлению одного из лучших произведений Шестова – «Киргегард и экзистенциальная философия» (1936, за два года до своей смерти). И, что важнее всего, именно эта книга обеспечила Шестову почетное место в экзистенциалистском «пантеоне». В 1942 году в знаменитом «Мифе о Сизифе» Альбер Камю называет наиболее важных для нового «человека абсурда» философов. Это Кьеркегор, Шестов, Хайдеггер, Ясперс и Гуссерль. Согласитесь, попасть в такой ряд – признак высочайшей интеллектуальной репутации.

Стоит отметить и близость Шестова М. Буберу, по просьбе которого он подготовил рецензию на его книги, которая разрослась в статью, посвященную вообще его творчеству. Таким образом, Шестов оказался в выгодном положении интеллектуального внимания благодаря своим личным встречам с Гуссерлем и Хайдеггером, а настоятельная рекомендация первого обратиться к изучению творчества Кьеркегора – ввело его фактически в европейскую экзистенциалистскую последовательность.

Говоря о нахождении в 20-30 гг. XX в. некоторых русских философов вблизи центров европейских философских сетей того времени, необходимо упомянуть и А. Кожева (Којев). Хотя он и считается французским философом, однако его русское происхождение, русская фамилия и «русская манера» философствовать (экзистенциализм и катастрофизм), делают его, помимо личной самоидентификации и классификаций западных историков философии, частью феномена «русские философы на Западе» в межвоенное время. Кожев (родился в 1901, в Москве, эмиграция 1920-1968) – также яркий пример быстрого формирования высокой интеллектуальной репутации человека, оказавшегося в нужное время в нужном месте. Время – 30 гг. (1933-1939), поиск новых стилей мышления, критика классического философского рационализма, открытие новых тем философствования. Место – Практическая школа высших исследований, где Кожев читал свои знаменитые лекции по «Феноменологии духа» Гегеля. Причем

«знаменитыми» их сделали его слушатели, создавшие свои собственные линии философской преемственности: Ж. Батай, Ж.-П. Сартр, Р. Гароди, Ж. Лакан, М. Мерло-Понти, Р. Кено, П. Клоссовски, Ж. Валь.

Сорокин, так тот вообще демонстрирует свое нахождение в самом центре социологической сети в Америке. После 6 лет, проведенных в Миннесотском университете, он был приглашен в Гарвардский университет для создания социологического факультета и возглавлял его 12 лет (1931-1942), где учились и преподавали почти все крупные американские социологи того времени: Кингсли Дэвис, Г.К. Хоманс, Р.К. Мертон, Т. Парсонс, Р. Вильямс, Ч. Лумис, В.Е. Моор и др. Соответственно, сорокинские «Социальная мобильность» и «Современные социологические теории» стали учебниками для поколения социологов 30-40 гг. XX в.

Второй фактор, фактор объективный, также способствовал продвижению в лидеры интеллектуального внимания отмеченных выше русских философов и, что самое главное, формированию имиджа русской философии, о которой стали судить, именно примериваясь к этим философам.

Европейскую и всемирную славу Бердяеву принесли не собственно те его книги, которые он сам считал главными («Опыт эсхатологической метафизики», «Смысл творчества», «Смысл истории»), а небольшая брошюра «Новое средневековье», имевшая большой эффект созвучия с Григорием Ландау («Сумерки Европы») и Освальдом Шпенглером («Закат Европы»). Европейцев волновали не русские «заморочки» о соборности, богочеловечестве, несотворенной свободе, Софии, миссии христианства и т.п., а радикально меняющаяся их действительность. Действительность, несущая новые силы и власти, гибель старой европейской культуры и традиционных элит, «восстание масс», рождение новых мифологий техники и тоталитарных организаций. «Буревестники катастроф», одним из которых стал Бердяев, с большой силой выражали настроения дезориентации, релятивизма, переоценки ценностей, пессимизма. Эти же идеи, выраженные в «Новом средневековье», сделали Бердяева и знаковой фигурой того времени, и, одновременно, репрезентантом русской радикальной духовной культуры и русской философии.

Гениальная подсказка Гуссерля Шестову, настоятельно посоветовавшему заняться анализом творчества Кьеркегора, практически создала ему интеллектуальную репутацию как выдающегося предтечи экзистенциализма. Именно после яркой шестовской книги о Кьеркегоре завершилось формирование экзистенциалистских «святцев».

Шестов, в подачи Гуссерля (роскошный дар в ответ на запальчивую критику), заговорил на языке, понятным литературно-художественной богеме Европы, о темах, которые становились фокусом внимания (свобода и отчаяние, одиночество, пограничные ситуации и т.п.). Тому же способствовали и шестовские труды о Ницше и Достоевском.

Сорокин с его синтетичным умом, привнес в американскую социологию, страдающую эмпиризмом, «философию», т. е. широту обзора, размах обобщений, междисциплинарность (привлечение психологии, метафизики), ввод новых глобальных тем, подсказанных российской практикой (мобильность, социокультурная динамика и пр.) Именно обобщение опыта российского катастрофического развития пришлось как нельзя кстати для американских катастрофических 30 гг. XX в. (кризис, великая депрессия).

Таким образом, креативность, удачное вхождение в пространство интеллектуального внимания и активная личная политика по приближению к центральным фигурам западных философских сетей обеспечили как профессиональный успех этих философов, так и селективное формирование образа русской философии.

М.Н. Начанкин

КРЕАТИВНЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ Б.Н. ЧИЧЕРИНА И И.А. ИЛЬИНА О ПРЕДПОСЫЛКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Креативный, или творческий консерватизм начал формироваться в России, в XIX веке. Разработка его теоретических оснований была связана с именем Бориса Николаевича Чичерина (1828-1904). Крупнейший правовед, стоявший у истоков отечественной политико-правовой науки, основатель «государственной школы» русской историографии, автор известной пяти томной «Истории политических и правовых учений», Чичерин разработал основные положения креативного консерватизма. Он был человеком, с твердым, ясным и практическим умом. Откровенно высказывая свои убеждения царям, например Александру III, Чичерин не терпел раболепия других людей в отношении государственной власти. Уважение к личности и ее праву на свободу является основой учения Б.Н. Чичерина. Философия права, разработанная им, интерпретирует свободу человека как источник его прав, которые должны быть признаны обществом: «Все достоинство человека основано на свободе; на ней зиждутся права человеческой личности... Человек не средство для чужих целей, а сам абсо-